РАЗГОВОР С НЕБОЖИТЕЛЕМ

Здесь, на земле,
где я впадал то в истовость, то в ересь,
где жил, в чужих воспоминаньях греясь,
как мышь в золе,
где хуже мыши
глодал петит родного словаря,
тебе чужого, где, благодаря
тебе, я на себя взираю свыше,

уже ни в ком
не видя места, коего глаголом
коснуться мог бы, не владея горлом,
давясь кивком
звонкоголосой падали, слюной
кропя уста взамен кастальской влаги,
кренясь Пизанской башнею к бумаге
во тьме ночной,

тебе твой дар
я возвращаю — не зарыл, не пропил;
и, если бы душа имела профиль,
ты б увидал,
что и она
всего лишь слепок с горестного дара,
что более ничем не обладала,
что вместе с ним к тебе обращена.

Не стану жечь
тебя глаголом, исповедью, просьбой,
проклятыми вопросами — той оспой,
которой речь
почти с пелен
заражена — кто знает? — не тобой ли;
надежным то есть образом от боли
ты удален.

Не стану ждать
твоих ответов, Ангел, поелику
столь плохо представляемому лику,
как твой, под стать,
должно быть, лишь
молчанье — столь просторное, что эха
в нем не сподобятся ни всплески смеха,
ни вопль: «Услышь!»

Вот это мне
и блазнит слух, привыкший к разнобою,
и облегчает разговор с тобою
наедине.
В Ковчег птенец
не возвратившись, доказует то, что
вся вера есть не более, чем почта
в один конец.

Смотри ж, как наг
и сир, жлоблюсь о Господе, и это
одно тебя избавит от ответа.
Но это — подтверждение и знак,
что в нищете
влачащий дни не устрашится кражи,
что я кладу на мысль о камуфляже.
Там, на кресте

не возоплю: «Почто меня оставил?!»
Не превращу себя в благую весть!
Поскольку боль — не нарушенье правил:
страданье есть
способность тел,
и человек есть испытатель боли.
Но то ли свой ему неведом, то ли
ее предел.

✧

Здесь, на земле,
все горы — но в значении их узком —
кончаются не пиками, но спуском
в кромешной мгле,

и, сжав уста,
стигматы завернув свои в дерюгу,
идешь на вещи по второму кругу,
сойдя с креста.

Здесь, на земле,
от нежности до умоисступленья
все формы жизни есть приспособленье.
И в том числе
взгляд в потолок
и жажда слиться с Богом, как с пейзажем,
в котором нас разыскивает, скажем,
один стрелок.

Как на сопле,
все виснет на крюках своих вопросов,
как вор трамвайный, бард или философ —
здесь, на земле,
из всех углов
несет, как рыбой, с одесной и с левой
слиянием с природой или с девой
и башней слов!

Дух-исцелитель!
Я из бездонных мозеровских блюд
так нахлебался варева минут
и римских литер,
что в жадный слух,
который прежде не был привередлив,
не входят щебет или шум деревьев —
я нынче глух.

О нет, не помощь
зову твою, означенная высь!
Тех нет объятий, чтоб не разошлись
как стрелки в полночь.
Не жгу свечи,
когда, разжав железные объятья,
будильники, завернутые в платья,
гремят в ночи!

И в этой башне,
в правнучке вавилонской, в башне слов,

все время недостроенной, ты кров
найти не дашь мне!
Такая тишь
там, наверху, встречает златоротца,
что, на чердак карабкаясь, летишь
на дно колодца.

Там, наверху —
услышь одно: благодарю за то, что
ты отнял все, чем на своем веку
владел я. Ибо созданное прочно,
продукт труда
есть пища вора и прообраз Рая,
верней — добыча времени: теряя
(пусть навсегда)

что-либо, ты
не смей кричать о преданной надежде:
то Времени, невидимые прежде,
в вещах черты
вдруг проступают, и теснится грудь
от старческих морщин; но этих линий —
их не разгладишь, тающих как иней,
коснись их чуть.

Благодарю...
Верней, ума последняя крупица
благодарит, что не дал прилепиться
к тем кущам, корпусам и словарю,
что ты не в масть
моим задаткам, комплексам и форам
зашел — и не предал их жалким формам
меня во власть.

✧

Ты за утрату
горазд все это отомщеньем счесть,
моим приспособленьем к циферблату,
борьбой, слияньем с Временем — Бог весть!
Да полно, мне ль!
А если так — то с временем неблизким,

затем что чудится за каждым диском
в стене — туннель.

Ну что же, рой!
Рой глубже и, как вырванное с мясом,
шей сердцу страх пред грустною порой,
пред смертным часом.
Шей бездну мук,
старайся, перебарщивай в усердьи!
Но даже мысль — о как его! — бессмертьи
есть мысль об одиночестве, мой друг.

Вот эту фразу
хочу я прокричать и посмотреть
вперед — раз перспектива умереть
доступна глазу —
кто издали
откликнется? Последует ли эхо?
Иль ей и там не встретится помеха,
как на земли?

Ночная тишь...
Стучит башкой об стол, заснув, заочник.
Кирпичный будоражит позвоночник
печная мышь.
И за окном
толпа деревьев в деревянной раме,
как легкие на школьной диаграмме,
объята сном.

Все откололось...
И время. И судьба. И о судьбе...
Осталась только память о себе,
негромкий голос.
Она одна.
И то — как шлак перегоревший, гравий,
за счет каких-то писем, фотографий,
зеркал, окна, —

исподтишка...
и горько, что не вспомнить основного!
Как жаль, что нету в Христианстве бога —
пускай божка —

воспоминаний, с пригоршней ключей
от старых комнат — идолища с ликом
старьевщика — для коротанья слишком
глухих ночей.

Ночная тишь.
Вороньи гнезда, как каверны в бронхах.
Отрепья дыма роются в обломках
больничных крыш.
Любая речь
безадресна, увы, об эту пору —
чем я сумел, друг-небожитель, спору
нет, пренебречь.

Страстная. Ночь.
И вкус во рту от жизни в этом мире,
как будто наследил в чужой квартире
и вышел прочь!
И мозг под током!
И там, на тридевятом этаже
горит окно. И, кажется, уже
не помню толком

о чем с тобой
витийствовал — верней, с одной из кукол,
пересекающих полночный купол.
Теперь отбой,
и невдомек,
зачем так много черного на белом?
Гортань исходит грифелем и мелом,
и в ней — комок

не слов, не слез,
но странной мысли о победе снега —
отбросов света, падающих с неба, —
почти вопрос.
В мозгу горчит,
и за стеною в толщину страницы
вопит младенец, и в окне больницы
старик торчит.

Апрель. Страстная. Все идет к весне.
Но мир еще во льду и в белизне.

И взгляд младенца,
еще не начинавшего шагов,
не допускает таянья снегов.
Но и не деться
от той же мысли — задом наперед —
в больнице старику в начале года:
он видит снег и знает, что умрет
до таянья его, до ледохода.

март—апрель 1970